

II. ИЗ ПИСЕМ А. АДАМЯНА

Ирине Мушеговне Геодакян

14 мая 1947 года

Дорогая Ирина, вот я снова в дорогом мне Ленинграде; но я его по-настоящему еще не ощутил. Завтра впервые выхожу в город. Привожу в порядок тот первый экземпляр [диссертации — *ред.*] который столько времени лежал зря у Кеменова: он моей работы даже не читал; оправдывался тем, что находился долго в отъезде.

С Асмусом состоялась теплая встреча. На участие он согласился охотно и со своей стороны рекомендовал здешнего профессора-лингвиста Алексеева, декана филологического факультета. Я с ним имел встречу и получил от него самое благоприятное впечатление. Сейчас в квартире, где я остановился, печатает машинистка мои вставки, и я несу ему свою работу. Еще никуда не ходил. Зато 22-го иду на «Лебединое озеро» с участием Улановой и Дудинской.

Эх, Ирина, где то Вы? И как это от Вас я не имею ничего?

По приезде сюда я Вам послал телеграфный запрос. Я беспокоюсь, устроились ли Вы в Академии?

И на телеграмму нет ответа!

Приеду — сведем счеты.

А ведь я не сказал Вам очень важного: Асмус сейчас очень занят и может принять участие только осенью. Отсюда — все остальное: здесь я остаюсь недели три; может быть на обратном пути еще неделю в Москве: у Асмуса я нашел несколько иностранных новинок по эстетике; я хочу с ними познакомиться.

Кланяюсь уважаемой Анне Григорьевне, Вам же шлю сердитый привет. А что, если Вы нездоровы?

Ар. Адамян

14 мая 1947 года

Ирина, моя дорогая, Вы, конечно, получили мою телеграмму. Меня поразило Ваше сообщение, настолько я верил Г. Не скрою: отказ Вам я воспринимаю как отказ мне. Может быть это — в порядке вещей. Я могу не знать ничего. Я думаю о Вас. Возможно, что этому содействует и то, что я все время в состоянии некоторого упадка сил. Я хочу сказать, что думаю о Вас с чувством щемящим. Снова, снова и снова одна и та же мысль: не виноват ли я в чем-нибудь перед Вам? Ведь пойди Вы по линии другой, давно бы Вы устроились в жизни. Конечно, в Вашем возрасте и теперь это не поздно, и теперь аспирантская дорога по другим линиям перед Вами всегда будет открыта. Вы могли устать за это время, и если Вы устали, если здравый разум, если близкие Вам люди, если все скажет Вам, что ждать дальше нечего, *прошу*, не принимайте в расчет мое отношение, мое самочувствие. Никогда судьей я Вам не буду. Я всегда с трогательным чувством буду помнить, что Вы отнеслись ко мне, к моему руководству с доверием, и так терпеливо столько ждали. И если я Вас полюбил, этому чувству я также никогда не изменю. Поэтому, если в Вас и вокруг сложилась такая «обстановка», что надо что-то пересмотреть, упаси боже стать мне помехой. Я все еще лежу. Мне легче. Несколько дней назад на машине повезли меня к врачу, который и сообщил, мне, что у меня воспаление среднего уха в обоих ушах; стал скверно слышать. На обратном пути я заехал на почтамт и там обнаружил Вашу телеграмму, которая лежала там уже много дней. Какую ночь я пережил после того дня! Но сейчас все утихомирилось. Мысли потекли яснее, и совесть заговорила острее. Я и решил сказать Вам от всего сердца то, что я сказал.

Но ведь я Вас не вижу. Я не знаю — (бемоль) или (бекар) звучит в вашей интонации. Может быть что-то я сгущаю. Вам виднее. Я не хочу просить. Но если Вы все еще хотите быть со мною в работе, если Вы хотите не просто устраиваться в жизни, но и устраивать жизнь, и это — так, как я бы от этого мог желать и мечтать, если Вы готовы еще терпеть, тогда ... что тогда? Тогда будем пытаться вместе изыскивать пути. Ирина, я сам еще сейчас тем и занят, что изыскиваю пути. Бог знает, какие сюрпризы, быть может — горькие, еще меня ожидают. Быть может кое-кого я еще успею «разочаровать». Ведь вот, мои В. и Л., которые за это время не написали мне ни единой строчки! Не «разочаровал»

ли я их, как до них — этого дельца С.? Словом, я еще никак не могу наладить свое дело. Во 1-ых, Алексеев, который еще не начал читать книгу, по телефону (звонил я!) сообщил, что твердо решил не быть *официальным* оппонентом*, будучи готов быть неофициальным, книгу же начнет читать 25 и кончит 29 мая. Следовательно, у меня не хватает одного доктора-оппонента. Во 2-х, я все еще не знаю (лежу дома!) возьмет ли Эрмитаж провести защиту. Если возьмет, то он и выдвинет оппонента, которому понадобится время для ознакомления. Следовательно, в этом *хорошем* случае мне придется сидеть и ждать. А знаете ли Вы, Ирина, что я провел значительную дополнительную работу над «Вв». Помните, Вы мне разметили места из постановлений перед моим отъездом. Именно эти, и все эти, места я разместил с комментариями в последней главе, и в результате эту главу я перепечатал всю заново! Какой раз! Это было в Москве. Здесь я накинулся на книгу психолога Теплова «Психология музыкальных способностей», в который раз (во «Введении») наткнулся на любопытные образцы того самого недопонимания психологами природы эмоций, о чем я пишу в конце II главы. И вот я написал новых 6 печатных страниц. Что-то делаю, а тяжело на душе. Нине Степановне я вчера очень глухо («продуло уши») написал о своем недомогании, не мог не написать: слишком мне ее недостает! Познакомился с рукописной работой здешнего чудесного человека, музыковеда Ступеля об эстетике в кружке Герцена. Как бы мне хотелось, чтобы Вы ее прочитали. Какое изящество мысли и изложения. К сожалению, работа в целом не оставляет ясной картины о целостности в эстетических воззрениях ни Герцена, ни Огарева, ни в кружке, составлявшем этим двум фон, — Станкевича, Белинского.

Да, Я еще ни от кого не слышал, но сомневаюсь, что услышу по адресу нашего «Введения», что, говоря о *соцреализме*, я умалчиваю о Горьком! Это непременно поставят мне в упрек. Ради бога, поищите (если еще есть охота) к моему приезду необходимые материалы и *места* по этой теме. А за всем тем, чем объяснить и как оправдать, что Вы не пишете? Впрочем вольному воля! Только: *по получении этого письма сочините мне какую-нибудь телеграмму*. Я все пойму. Кланяюсь Вам и целую Вас.

Ваш Ар.Адамян

* объясняя тем, что его упрекнул, что он, филолог, берется за эстетику.

19 мая 1947 года

Ирина, дорогая, получил я наконец от Вас письмо. Был очень рад. Огорчен, что с Академией пока ничего не выходит. Имейте ввиду: Вы должны проявить настойчивость: раз в неделю становитесь пред ясные очи кого следует! Но я рад и горд за Вас, что невзирая на неустроенность, Вы работаете. Прошу продолжать и набирать темпы. Чернышевский, так Чернышевский. Хотя я и не хорошо помню, что мы договорились приступить к нему. Но так как всегда по специальности должна быть *какая-нибудь* работа, Ваш выбор не плох. Вы спрашиваете новой литературы о нем. Посмотрите в «Советской книге» за 1946 г. №1 Розенталя о *Чернышевском*. Ничего другого я не помню. Не забудьте, что эстетикой занимался Антонович, сподвижник Чернышевского по «Современнику». Книга («Эстетические воззрения»?) Антоновича вышла в советском издании приблизительно год тому назад. Имеется в библиотеке Академии наук. Радует меня, что Вы обратились к системе карточек-записей. Это чудно. Ставьте всегда даты. И — одно: хоть их Вы будете писать для себя (иногда — и для меня?), пишите, предельно шлифуя мысль и фразу. Врзвращайтесь к своим записям время от времени, и если что находите ошибочным, записывайте: что есть ошибка и как должно быть правильно.

* * *

Пишу я Вам в постели: второй день я лежу в гриппе, болит ухо. Простудился из-за отвратительной погоды. Сейчас мне легче: надеюсь дня через 3 встать на ноги. Конечно, об этом домой я не пишу, чтобы не разволновать. В моем деле есть новое: по ряду серьезных причин, видимо, придется отказаться от того, чтобы проводить защиту в Консерватории. Главная причина: основной по Консерватории и наиболее солидный оппонент до осени фактически выбыл из строя. Сейчас возникает мысль организовать дело в Эрмитаже. Как встану, выясню этот вопрос.

О моих затруднениях *никому* не стоит говорить.

Очень прошу: пишите чаще.

Привет матушке.

Целую Вас Ваш

А.Адамян

Адресуйте: Исаакиевская п. 5, институт театра.

Ирине Мушеговне Геодакян

25 мая 1947 года

Дорогая Ирина, если Вы получили мое предыдущее письмо (послал вчера), то Вы знаете, что Ваше письмо от 17 мая я получил в тот самый момент, когда собирался вручить сердечной Марье Михайловне, шаги которой слышал в коридоре, письмо для отправки Вам. Теперь эта Марья М. Имеет от меня бумажку и ей теперь на почте выдают мою корреспонденцию. Марья М. хотид на почтамт в день 2 раза. Это Вы учтите, если не хотите, чтобы она уходила из почтамта с пустыми руками. На вчерашнем своем письме я тут же приписал, что Вы не должны придавать большое значение тому, что быть может, я проявил некоторое малодушие. Но может быть у меня есть основание не верить — не Вам, но в том, что отныне *никогда* в своей работе не останусь один. Я имею великого друга в этой работе очень близко от себя и помощника, который вместе со мной радуется и печалится, друга, который ради моей работы в прошлом так во многом себя лишал, — я имею его, но я не имею своей пары в работе, того лаборанта, который исподволь овладеет тем немногим, что у меня за душой имеется и выйдет в свет, в общество более интересным и богатым, чем то было возможно для меня, я не верю в эту возможность и всегда боюсь, что попутчики вылезут либо ночью, когда я буду спать, либо днем малозаметно, где-нибудь на промежуточной станции.

Ваше мнение меня больше успокоило, чем Вы могли бы предположить. Во-первых, я верю, Г. действительно *не мог* в связи с тем, что он объяснил; во-вторых, я доволен, что Вы заговорили *с ним* об аспирантуре; в-третьих, я хвалю, что Вы задумали поговорить и с Асланяном. Между нами: я не очень

верю в твердость его слова — вообще. Все-же, он начальник института и Ваша просьба его не может также не обязывать. А главное во всем этом: *инициативность*! Это — от той хорошей, благородной настойчивости, которая одна ладит жизнь. Вам 22 года? Это — чудно! Но нужно, чтобы это не было сентиментально чудно. Вообразите, что в эти годы у Вас есть уже дети, что Вы уже крепко любите, что Вы несете обязанности, что кто-то зависит от Вас, словом, что Вам уже лет 27,28. В Вашей *первой* попытке проявить инициативу и настойчивость я вижу еще одно, и это — самое главное: *бекаризацию* духа! В Вашем письме оказались слова, которые я особенно оценил: «не думайте, что я прекратила свои занятия». Я их перечитал с радостью. Вряд ли Вы, мое Дитя, отдадите отчет во всей силе для меня этих слов!

Впрочем, если бы Вы обмолвились и написали: «Я не прекратила свою работу». Должен сознаться, что насколько чту, уважаю работу, настолько иногда бываю равнодушным к тому, что называется «заниматься» или «быть занятым». Быть занятым умеет любой тупица и бездельник, что касается «заниматься», то конечно, Вы не поймете меня слишком прямолинейно: без занятий и работы нет, когда работа означает учебу, профессионализацию. Но все же, вести и нести занятия способен всякий, а работать много труднее. Последнее надо уметь, этому надо выучиться. И вот, легче встретить человека, который в своей области несомненно много занимается, чем того, кто в ней много работал. Честно говоря, я сам не знаю, в чем здесь различие. А различие — огромное. Хотите, Вам на ухо скажу: наши философы имеют недурной запас знаний и плохой запас философской культуры, и это оттого, как я думаю, что они некогда (и теперь?) добросовестно занимались, и недобросовестно работали. Но, Дитя, говорю Вам: второе труднее. И знаете что? Заниматься возможно в одиночку, а работать — нет. В первом надо себя напичкать, обогатить, а в работе — с кем-то столкнуться, кого-то убедить. Быть на положении преодолевающего извне сопротивления. Здесь, в работе, всегда налицо хоть чуть-чуть: кто кого? Заниматься можно иной раз позевывая, в работе — никогда. Успех в занятии есть в работе победа. Не в занятии, но в работе узнается человек, и узнает он себя сам. Занятие обогащает аппарат мысли, работа его шлифует, и именно работа вырабатывает в человеке лицо, индивидуальность, подлинное понимание вещей и манеру такого понимания; во всяком случае — язык. Вузовские экзамены проверяют знания и мало работу. И еще я подумал, что с работой, не с занятиями, связано это

неописуемое творческое удовольствие.

Словом, приписывайте моей робости в отношении Вас, если я не очень буду толкать Вас на то, чтобы Вы, занимаясь хорошо (рано вставать! В труде быть целый день), а также и работали.

Хотите ли, чтобы я дальше разглагольствовал на эту тему? Сейчас 12 ч. Ночи; я в постели в полулежащем положении, пишу на подставке на коленях, отчего и почерк мой менее совершенен, чем всегда. Продолжается тоскливость (или утомленность) на душе — жду, когда добрая Марья Михайловна, в семье которой я живу, перед сном сделает мне на ночь компресс. Вижу в каком-то тумане ваш зеленый берет. Он мне всегда очень нравился, как и зимняя шапчонка. А главное, если неинтересно то, что я пишу, то отнесите это к моему гриппу, предсонному состоянию и перейдите к своим занятиям. Только, почему моих писем Вы не получаете? Это — шестое. Если получаете, уничтожайте. Я беседую только с Вами.

На чем я остановился? На проповеди, на прописной истине: занимаясь, Вы должны и работать. Для занятий составляется хоть какой-нибудь план, а для работы это не принято. Но как работать?

Давайте с малого.

1. Записки, о которых мне сообщали, они должны быть предельно интимны и предельно же продуманы, отшлифованы и быть готовыми к тому, что кто-то их прочтет и поймет. Не переставая (но не каждый день, а через промежутки!) возвращайтесь к ним, пишите заново, критикуйте себя и — *до предела* лаконично, афористично; но чтобы это было и полно. Боже Вас сохрани запустить это дело. На верху записки поставьте название, содержание: «о том-то». Если записки достаточно накопятся и внутри отдифференцируются, располагайте их по соответствующим папкам. Найдите, как назвать папки, но конечно, не играйте в папки.

2. Облюбуйте из своего окружения кого-нибудь и задумайте дать пластически-психологическую его зарисовку; чтобы это было и верно и полно и сочно. И чтобы это мог бы когда-нибудь кто-нибудь прочитать. Когда вы сворачивали с ул.Ленина на ул.Гнуни, я Вам об этом говорил, но тогда Вы тут же, шагая рядом, в душе отмахнулись. Зря! Вам нужно портреты создавать, Вам нужно стихи писать, нужно ваять скульптуру, нужно сонаты сочинять, нужно в балете зал очаровать, — нужно, чтобы понять что-либо из чужого творения. Ну я и предлагаю самое для Вас доступное. Кстати, когда я стучал

в дверь Асмуса в Москве, я слышал прекрасную игру на рояле. Я понял, что это он сам и играет, и не ошибся. Не потому ли Асмус кажется единственный в нашем Союзе философ, который чувствует и понимает искусство? Если не всегда он говорит об искусстве правду, то это не от непонимания искусства. А когда я говорю Вам *десять лет кряду*: возобновите игру на рояле, Вы ухмыляетесь или улыбаетесь той улыбкой, которую я вообще не люблю, а в Вас вовсе не переносу: улыбкой барышни, которой сказать нечего, а умолчать неловко. Итак, к Работе Ва отнесите и зарисовку.

3. Отзыв о каком-нибудь спектакле. Напишите его не «для себя» - «для себя» делают только барышни! А для печати, и отложите *для меня*.

4. Поскольку Вы занимались Толстым, напишите наконец свои соображения и о нем. Кстати, кажется в 40 г. в «Под знам[енем] маркс[изма]» была статья Асмуса об этом, а после (не помню когда -) ответ Гусева (?). Я это здесь в библиотеке, как встану, уточню и дополнительно Вам напишу. Поищите и Вы и завершите эту работу. Словом, у Вас есть что работать. Только в труде надо быть *все время*. В работе и только (не в занятиях) ищите Вы своего лица на вещи и свой язык изложения, и Вы наживете – при систематичности и упорстве – сильную мускулатуру духа и хорошую гибкость мысли.

В занятиях и в работе не должно существовать *никакой* очередности! Какая очередность там, где речь идет о том, чтобы жить по-настоящему, дышать полной грудью. Так живите же, дышите же.

Я устал писать и не хочется прерывать беседы с Вами. А надо. Гости расходятся, сейчас начнут делать мне компресс. Я свертываюсь. Спокойной ночи.

26 мая.

Сегодня с утра я чувствую себя бодрее. Прочел свое письмо. Я его пошло. Я не послал Вам другое письмо, которое собирался послать с почтамта в тот самый день, когда получил тяжелую Вашу телеграмму; так оно и осталось у меня в кармане.

К тому, что выше Вам писал о занятиях и работе, хочется добавить одно: занятия можно вести как угодно стыдливо-скрытно, а работу – нет. Необходимо ломать в себе робость и застенчивость. Лучший путь – выступать. Готовьтесь к вытуплению, *заставьте* себя выступать, в выступлении старайтесь приковать внимание, не избегайте необходимой пластической

позировки; хотя бы Вы зазубрили дома предстоящее Ваше выступление, говорить Вы должны без бумажки. Вы должны говорить, *обязаны*. В этом также форма работы.

Но не пора ли мне снять с себя рясу? Быть руководителем – дорого, а проповедником скучно. Но какой проповедник ходит за своим слушателем по следам: дошло, дескать, до него или не дошло? Долой рясу. Мечтаю снова быть дома, среди тех, кого я так люблю и чьей преданностью я дышу, уже просыпаясь с утра. И все же, надо здесь что-то делать... Надо, иначе найдутся такие, которые меня заклюют. Завтра ушник скажет, когда можно будет мне выходить. Основная моя встреча теперь, от которой зависит много или же все, – Орбели. А занете ли Вы, что мою армянскую эстетику приостановили печатанием, т.к. вытребовали в Москву. Грешен, чувствую интригу, и думаю, что тут замешана грязная рука Момджяна. Увидим! Всего хорошего. Вам кланяюсь и *Вас* целую. Привет Анне Григорьевне.

Целую Ваш *Ар.Адамян*

Ирине Мушеговне Геодакян
7 июня 1947 года, [Ленинград]

Дорогая Ирина, хочу ответить на Ваше письмо от 29 мая. Вы спрашиваете моего мнения о Вашем решении подать заявление в аспирантуру Академии по какому-нибудь разделу философии с тем, чтобы в дальнейшей переключиться на эстетику. Я могу только одобрить Ваше решение. Желаю всяческого успеха и надеюсь на этот успех. Должен честно сказать, что я одобряю Ваше решение, хотя бы, паче чаяния, переключение и не удалось. Чем больше я присматриваюсь к вещам, тем больше убеждаюсь, что эстетикой или *одной эстетикой* ограничить свою профессию трудно. Если судьба привяжет Вас к чистой философии (будь это *хотя бы* одна Логика или Психология), может быть когда-нибудь Вы благословите небо. Мой всегдашний страх за Вас снова звучит во мне. От сердца я Вам советую сохранить в себе «свободу руку» перед моей наукой. Удастся переключиться – *шըրի քիш ւնիլ ունի*; не удастся – все равно мечтайте *для себя* о мраморной лестнице и готовьте себя стать на нее. Везде и всегда, где я смогу быть Вам другом и наставником, Вы найдете

меня готовым. Один практический совет: пусть не знают в Академии о планах переключения на Эстетику: могут отнестись на испытаниях несколько придирчивее, мол — «все равно не наша!». Заявите при необходимости, что Вы вообще хотите себя посвятить философии. Все же. В предвидении такой придирчивости — мнительности, Вам надлежит особенно отличиться на испытаниях. Поэтому Вам предстоит заниматься (не — «работать!») весьма усердно. В добрый час! Мне только непонятно, откуда взялись Логика и Психология. Что это? Новые требования? А вообще, если уж Вы мне хотите писать, почему не писать все более обстоятельно? Если Вы будете мне писать, прошу напишите об объеме испытательных требований. Что касается трудностей в Логике, то может быть имело бы смысл получать консультации у Асланяна. В противном случае по приезду я постараюсь Вам помочь. Если не очень неохота, уже теперь сообщите, что именно неясно Вам в Логике; может быть я смогу в письмах разъяснить.

Т[ак] к[ак] Вам неясен смысл моей задержки, то объясню: вопрос о месте защиты оказался много сложнее, чем я предполагал. Под конец выяснилось, что звание «искусствоведческих наук» фактически негде защищать. Теперь я связался с университетом на звание «философских наук». Вероятно защита пройдет здесь и в начале осени. Я остаюсь в Л[енингра]де числа до 15 июля; буду работать в библиотеке.

Привет уважаемой Анне Григорьевне и Вам

А.Адамян

Ирине Мушеговне Геодакян

23 июня 1947 года Л[енингра]д

Дорогая Ирина, здоровы ли Вы? Давно не имею от Вас ничего. Впрочем, и сам я давно не беседую с Вами. Свою причину я знаю: утопаю в работе! Только теперь я начинаю понимать значение того, что я болел; эта болезнь меня вывела из колеи больше, чем я тогда соображал. Обидно. Но если бы Вы знали, какая сейчас у меня охота работать, как прояснились мысли, спокойнее

на душе, и как я радуюсь тому, что у меня остается много сделать, что надо успеть к отъезду. Как и всегда, в интенсивной работе я испытываю наслаждение. Правда, не вся работа у меня интересная. Скудное делобиблиография, которую я должен приложить к своей работе. Как ни не хочу раздувать эту библиографию, приходится упомянуть больше 90 названий, и все они должны быть проверены и уточнены. Прибавьте, что не всегда указаны у меня откуда цитаты! Из-за одного этого мне пришлось перечесать три шекс [пировские] трагедии. Зато с удовольствием возобновляю в памяти некоторые забытые книги, а кое-что просматриваю впервые. А до чего приятно работать в Публичной библиотеке им. С.-Щедрина! Какая налаженность и предупредительность! И — если сравниваю с довоенными годами: 1-е — больше народу в читальном зале (для научных работников), 2-е — больше молодежи, чем немолодежи.

Свою книгу систематически перелистываю и не переставю работать над отдельными местами. Особенно широко развернулись мои дополнения к объяснению прекрасного и художественного наслаждения, и, пожалуй худ[ожественной] формы. Эту неделю я работаю особенно фанатически, т.к. в квартире нет никого: «хозяева» уехали в Москву на философское совещание, и я здесь — царь и бог; пребываю в абсолютнейшей тишине.

Только что говорил по телефону с Чалояном из Москвы. Вместе с Асланяном и Алекс [аняном] они также на совещании; Чалоян имел выступление и, кажется, хорошее. Любопытно, что к рецензии в последнем № «Большевика» на своего Давида он отнесся, как говорит, очень спокойно; как ему сказали, из рецензии все положительные о работе строки в печати выпали. Как Вы отнесетесь к убийственной критике на мою статью в армянском журнале? Признаюсь честно: мне стало обидно; но эта обида длилась недолго: я знаю, что они не правы; а может быть, многое осталось непонятно; а может быть многое было и впрямь нехорошо изложено. Как бы ни было, сейчас мне не до обид и сантиментов: надо работать!

У меня впереди не так много времени. Предполагаю, что числа 15 июля выеду.

Хочу знать, как Ваши дела. Но Вы не пишете. Как же я могу узнать? Молю небо, чтобы Вам было хорошо и чтобы Вас ожидала удача в том, что Вы себе намечаете. На расстоянии 3800 километров это все, что в моих силах!

Кланяюсь и жму руку — А.Адамян

Милая Ирина, дорогое мое Дитя, уже третий день, как лежит у меня Ваше письмо — отповедь на мое «грозное» письмо. Я тут же, как получил, хотел на него ответить, но не мог. До чего я устаю, Ирина, как ненасытен я стал в работе, боясь все время того, пройдут дни, и я чего-то не успею. Я перечитываю Ваше письмо; я так сожалею, что причинил Вам боль.

Я все помню и знаю, что причинить Вам боль я не хотел, но сам я ощущал боль, и такую острую. Если Вам трудно мириться с мыслью, что придется прекратить совместную работу, то ведь и мне тоже. Но в одном я чувствую вещи иначе, чем вы, и, может быть, это-то и составляет скрытый источник моей боли. Я не мог бы сказать о себе, что мирюсь с перспективой прекращения работы с Вами. Я не мирюсь. Я знаю, что наши старания могут не увенчаться успехом и очень, очень многое не от нас зависит. Но я знаю, я думаю, я хочу думать, что работать или не работать вместе — это ни от кого не зависит на свете, но только от нас самих. Все, что от обстоятельств может зависеть, — стеснять свободу в нашей работе, тормозить ее размах и темпы, но только не прекратить. Ведь и Л. и В. не прекращали работу, работая очень замедленно. А Вы не могли бы вдвое, втрое больше их давать в работе? Разве я поверю в это? Разве я примирюсь с тем, если Вы бы на это не пошли? И вот, мне почудилось-почудилось? — что Вы с обстоятельствами в жизни хотели бы, готовы были бы обойтись терпимее, чем это в моей натуре, чем это я хотел бы видеть и в Вашей натуре. Скажите, подумайте — все понятно, на что я хочу звать? Впрочем, все это так просто! Если ничего не удастся с аспирантурой и Вы пойдете в школу, и это не трагедия; в школе Вы, — и за это Вы будете драться! — себя нагрузите минимально, чтобы урвать время для нашей работы больше и больше. Так продержимся год, а там снова будем колотить судьбу по башке! Разве я не верно говорю? И разве здесь возможна половинчатость, нерешительность, уход в страдания? А пока надо готовиться к экзаменам в аспирантуру, если вообще они намечаются, и готовиться так, чтобы растолкать всех соперников. Я думаю: застану ли я Вас, как приеду? Это будет в конце июля. Хотел бы. Сейчас я ни о чем другом не хочу Вам писать.

Иду в Публичную библиотеку. Вчера машинистка начала печатать предпоследнюю порцию новых исправлений и дополнений; сегодня вечером

возьмет последнюю. Завтра кончается эта полоса моих работ, и книгу сдам Серебрякову. Вы еще успеете мне ответить на это письмо. Шлите *avia*. Крепко жму руку. Уверен, что что бы ни было, - а еще многое и тяжелое может быть впереди - впереди все будет прекрасно, как та широкая лестница.

Ваш Адамян

Ирине Мушеговне Геодакян
18 июля 1947 года Л [енингра] д

Дорогая Ирина, недавно получил я Ваше письмо, где Вы сообщаете о ваших «психологических» новостях и перспективах. Хотя для меня все это совершенно неожиданно, и не все мне ясно, я понимаю, что Вы поступаете правильно, и начинаю привыкать к мысли, что пожалуй, Вы иначе вообще не поступаете. Если Вам удастся устроиться в аспирантуре психологом, думаю, что М. не станет особенно противиться Вашему желанию перекочевать в царство Прекрасного. Сейчас я особенно сожалею, что присущий Вашему эпистолярному стилю предельный лаконизм помешал Вам сообщить:

1. готовитесь ли Вы к аспирантским испытаниям?
2. в каких целях Вы остановились на теме о Гельвеции и в каком объеме намечена эта тема?

Кстати, может быть, это и нескромно с моей стороны, но дитя мое любимое, как могло случиться, что всего этого я не знал и предвидеть не мог? Запомните, что при первой же нашей встрече Вы мне поведаете обо всем этом.

Мы встретимся, очевидно, в Ереване по моем возвращении, если не допустить, что я Вас увижу проездом на ст. К[ировакан]. Если я узнаю, что не буду проезжать К[ировакан] в слишком ранний или поздний час, я сообщу Вам о своем проезде, если Вы не возражаете. Я достаточно соскучился по Вас, чтобы отказать себе в таком удовольствии. Отсюда я намерен выехать 2 авг.; из М[оск]вы - 4 или 5 - через Сочи.

О себе. Не покажется ли вам странным, что до последнего времени я работал над своей книгой. В результате известный Вам вариант сильно преобразился, чуть ли не на 1/3, начиная уже с названия: «Вопросы

марксистско-ленинской эстетики». Сейчас книга распухла до 15 или 16 п.л.; я затронул некоторые новые вопросы, как вопрос о сущности художественной правды; развернутое изложил вопрос о природе прекрасного, расширил изложение вопроса о нормативности эстетики. Не скрою: некоторые из новых мест мне нравятся. Зато всплывают места, которые я охотно переделал и разбавил бы, будь у меня время и силы. Но сейчас нет ни того, ни другого. Вы легко поймете, что я устал, и ни о чем с большей охотой не думаю, как об отдыхе. Впереди у меня много забот. Я остался должником, в частности, музыкального кабинета, которому обязался написать работу об истории музыкально-теоретической мысли в Армении, начиная с начала XIX в., как и другую работу: критический анализ оперных либретто. Боже мой, сколько бы я дал, если бы мог освободиться от этих столь же тяжелых, как и некогда вынужденных обязательств! Но сейчас и обо всем этом я не хочу думать, отдохнуть, отдохнуть... Из дома мне пишут, что мои композиторские друзья выезжают по традиции в Кир[овакан]. Одну минуту я и о себе подумал: не последовать ли и мне за ними? Этот вопрос возникает каждое лето, и всякий раз я отказываюсь: не верю в такой отдых. И теперь отказываюсь. Мой отдых будет моя семья, куда я стремлюсь всей душой.

В ожидании своего выезда я ничем серьезным не занят, если не считать того, что пишу к книге своей тезисы. Это — нелегкое предприятие, и немножко скучное, а скуки в работе я не переношу: постарел.

Хожу в кино. Впрочем, был всего два раза, и оба раза ушел с чувством большой досады. Видел «Анаит». До чего нужно потерять элементарно чувство драматургии, чтобы выпустить такую д.....!

Беспомощный сценарий, провинциальное оформление, бесталанное исполнение. Но можете ли себе представить, что быстро ставшая здесь популярной картина «Весна» оказалось такой же дряненькой. Вы пойдите! Это комедия, построенная на мотиве *qui pro quo* (кто вместо кого — ред.). Но как разрешен этот мотив! Одна и та же артистка играет две роли, и зритель знает, видит это, но он должен верить, что эти две роли (персонажи) сами этого не знают. Вдобавок, никаких острых положений из-за путаницы вовсе не происходит. Зато, машинерии, бутафории, каскадного шика — хоть отбавляй. Нет, Вы обязательно посмотрите эту картину.

Хочу два слова сказать о диссертации о Толстом. Не знаю, почему орлы не пошли; но я бы не пошел, увы! по личным соображениям. Ирина, совсем

или со многим я могу мириться по великодушию, но никогда с предательством. А здесь — это было. Мне непонятна сама тема — *в настоящее время* ! очковтирательство? Не берусь судить, не зная работы. Автор — человек очень способный и на многое способный. Впрочем, бог с ними!

Отдыхайте вволю, если начнете отдыхать, работайте, если начали работать, при всех же условиях — будьте здоровы.

Ваш А.Адамян

И, пожалуй, Вам легче узнать, проходит ли прямой поезд М.- Ер. через Кир. В удобное время или нет, и телеграфируйте мне: сообщить Вам или нет. Впрочем, я постараюсь и сам здесь узнать.